

Голос старого рыбака, звавшего его, прозвучал так отчетливо, что Доменико мгновенно вспомнил его имя.

Обычно он величал его не иначе как «чертовым старым Джоном» или «паршивым Фишманом».

И когда Доменико в сердцах выкрикивал эти ругательства, чудаковатый старик лишь добродушно зубоскалил, сверкая щербатым ртом, что всякий раз приводило молодого музыканта в неопишемую ярость.

Большинство музыкантов происходили из благородных семей. Оно и неудивительно: лишь состоятельные люди могли позволить себе выучить искусного пианиста. Но Доменико был другим. Он рос в убогой нищете, а первым клавишным инструментом, к которому ему довелось прикоснуться, была старенькая фисгармония в полуразрушенной деревенской церквушке, на которой играл местный священник.

Безусловно, мальчик обладал талантом. Вот только одаренных детей в мире хватало и без него. Другим везло больше: у них были именитые учителя, великолепные, идеально настроенные рояли, они постигали тончайшие грани исполнительского искусства. А у Доми был лишь добрый пастырь, который, послушав его робкие импровизации, мягко улыбнулся и сказал:

— Доми, ты истинный самородок. Тебе нужно ехать во Флоренцию!

Грезы о том, чтобы вырваться из сонной глуши Виарте и уехать во Флоренцию, завладели душой Доменико без остатка. Вспахивая каменистую землю, он всей душой ненавидел свою долю. И в двенадцать лет судьба смиростивилась над ним: мальчик наконец-то сумел сбежать из родного дома навстречу своей мечте.

Увы, то, что казалось началом прекрасной сказки, обернулось крушением надежд.

Флоренция, эта блистательная колыбель искусства, была переполнена гениями. Талантливых музыкантов здесь было пруд пруди: уличные ресторанчики, прокуренные бары, приходы — никто не нуждался в услугах неотесанного деревенского мальчишки, который отродясь не слышал имени Шопена. Никто не позволил бы его грязным, мозолистым пальцам осквернить клавиши благородного рояля.

Доменико давно позабыл, какой то был день. Изнывая от голода, он брел по мостовой с четким ощущением, что рассвета ему уже не увидеть. Мальчик всерьез подумывал броситься в реку, чтобы разом покончить с этой нелепой, никчемной жизнью. И в миг глубочайшего отчаяния его взгляд упал на всеми забытое пианино.

Старое, рассохшееся, с облупившимся лаком и выбитыми клавишами — оно стояло у обочины, всеми покинутое, точь-в-точь как сам Доменико. Два ненужных Флоренции осколка, выброшенных на свалку музыкального бытия.

Простояв перед инструментом в нерешительности целую вечность, он наконец решился коснуться уцелевших клавиш. Пальцы одеревенели от холода, а рассудок мутился от голода, но в голове наперекор всему настойчиво звучал мотив.

На пронизывающем ночном ветру Доменико выплеснул всю свою ярость, обиду и нестерпимую боль на разбитую клавиатуру. Инструмент не мог передать и сотой доли его терзаний; он лишь хрипел и натужно скрипел, словно оправдывая то, почему его выбросили на улицу.

Импровизация затихла. Слушателей не было — лишь тихий плач самого Доменико нарушал безмолвие переулка. Он балансировал на грани обморока, но упрямо цеплялся за жизнь, ведь музыка оставалась его единственной, пускай и несбыточной мечтой.

Спустя какое-то время на его плечо легла теплая ладонь, а перед глазами появился белоснежный платок.

Сквозь пелену слез Доменико различил силуэт безупречно одетого пожилого джентльмена. Даже на тонком батисте его платка красовалась изящная вышивка с фамильным гербом.

То был Гаррисон Беллу. Сорок лет назад, когда он еще твердо держался на ногах и опирался на трость с набалдашником, он прогуливался по закоулкам Флоренции и наткнулся на бьющегося в тисках безысходности юношу.

С ласковой, понимающей улыбкой старик тихо спросил:

— Мой юный друг, не хочешь ли ты сыграть на настоящем рояле?

С того памятного дня жизнь Доменико круто изменилась. Он обрел лучших учителей, великолепный рояль и благодаря упорному труду и врожденному таланту сумел покорить взыскательную публику Италии, став со временем почтенным владельцем крупнейшего музыкального театра во Флоренции. Он получил все, о чем только смел мечтать: роскошный особняк, внушительный счет в банке, дорогие автомобили. Отныне никто не смел попрекать его невежеством или сомневаться в его мастерстве.

Стоило ему коснуться клавиш, как слушатели забывали о его сомнительном происхождении. Да и сам он почти стер эти воспоминания из памяти.

Он забыл голодное детство в глухой коммуне Виарте, забыл, что когда-то был просто оборванцем Доми, рожденным в покосившейся лачуге.

Чжун Ин медленно убрал руки с деки, и затихающее дрожание струн растворилось в прохладном воздухе.

Утирая катящиеся по щекам слезы, Доменико сквозь рыдания воскликнул:

— Черт бы тебя побрал! Что... что это за безумие ты сейчас сыграл?!

— Это «Песнь скорби», переложённая заново господином Шэнь Лином, — ответил Чжун Ин, глядя на потрясенного пианиста. Повинуясь вековому напевному ритму, юноша негромко зачитал строки древней поэзии Императорской музыкальной палаты:

— Песней скорбной заменяю я слезы,

Взором вдаль заменяю возвращенье.

Тоска по родине гложет душу,

Дом пуст, воротиться не к кому,

И реку перейти — нет лодки.

Думы горькие устам не поведать,

Лишь сердце бьется, колесом терзаясь.

— Это песнь о тоске по родному дому, — мягко пояснил он.

Певучий китайский слог лился подобно торжественной литургии. Когда Чжун Ин перевел слова на итальянский, Доменико ощутил, как его сердце сжимается от щемящей грусти.

«Дом пуст, воротиться не к кому, и реку перейти — нет лодки...»

Как могло случиться, что на загадочном, бесконечно далеком Востоке тоже текут такие реки, качаются на волнах такие же лодки и блуждают такие же потерянные, лишившиеся близких скитальцы? Эти древние строки казались написанными специально для него, хотя родились за много веков до его появления на свет. Они с пугающей точностью передавали тоскливое одиночество человека, которому больше некуда возвращаться.

Доменико долгие годы хоронил под спудом воспоминания о своем бедном, но по-своему прекрасном детстве. Подставляя лицо прохладному речному ветру, он привык убеждать себя:

«У меня нет прошлого, нет привязанностей. Тот оборванный, вечно голодный мальчишка Доми давно сгинул. Теперь есть лишь Доменико — великий пианист, владелец знаменитого театра».

Но прозвучавшая музыка сорвала все маски, и обжигающие слезы сказали правду: он безумно тосковал по дому, пусть даже этого дома больше не существовало.

Справившись с рыданиями, раскрасневшийся музыкант глухо спросил:

— Почему... почему ты решил сыграть именно это?

Чжун Ин внимательно посмотрел на него. Его пальцы задумчиво коснулись струн, извлекая тихие, мерные звуки.

— Я читал вашу автобиографию, — негромко произнес юноша. — Вы много и подробно пишете о вашей дружбе с господином Беллу, но старательно обходите стороной родные края. Вы лишь вскользь упомянули, что это место принесло вам немало страданий, и что вы одновременно страстно желаете вернуться туда и панически этого боитесь. Даже когда в город приезжали земляки из Виарте, вы упорно избегали встреч и разговоров о былом.

— Прежде я не мог этого понять и думал, будто вы просто презираете свою родину, — Чжун Ин опустил взгляд на семь струн «Уединенной обители», вспомнив, как когда-то глупо расспрашивал об этом своего наставника. — Но учитель объяснил мне истинную причину. У нас в Китае говорят так: «Чем ближе подходишь к родному порогу, тем сильнее трепещет сердце; робеешь и не смеешь расспросить путников».

Услышав перевод этого поэтического изречения на итальянский, Доменико порывисто вскинулся:

— Нет! — отрезал он, и в его голосе прозвучало отчаяние. — Я ни капли не скучаю по Виарте! И ничего от этого Богом забытого места не жду!

Чжун Ин посмотрел на него без осуждения, его взгляд был чистым и пронизательным.

— Но о ком же тогда плачет ваше сердце?

Доменико замер, словно пораженный громом. В горле встал комок, мешая дышать. В следующий миг слезы хлынули с новой силой, и из его груди вырвался глухой, надрывный стон.

— Моя мама... — спрятав лицо в ладонях, прошептал он сквозь рыдания. — Я ведь почти позабыл ее лицо.

Она была самой нежной женщиной на свете, которую он не имел права забывать. Она тянула лямку нищенского существования в их захолустье и угасла, когда ему едва исполнилось двенадцать. Со смертью матери оборвалась последняя нить, связывавшая его с родным домом, и мальчик решил на побег. Но всякий раз, когда он садился за рояль, когда выходил на залитую светом сцену под шквал аплодисментов, перед его внутренним взором неизменно возникало изможденное лицо матери и ее тихие слезы.

«Доми, — шептала она перед кончиной, — зачем ты грезишь о том, что тебе не принадлежит?

Ты сын простого крестьянина, тебе никогда не стать музыкантом...»

Доменико долгие годы убеждал себя, что хранит в душе лишь обиду и злость на эти слова. Но сейчас, содрогаясь от плача, он понял, как жестоко ошибался.

В этот момент ему внезапно открылась истина, которую он прежде отказывался понимать. Раньше, глядя на своих излишне впечатлительных коллег, проливавших слезы на концертах Фань Чэньюня и уверявших, будто музыка заглянула им в самую душу, Доменико лишь скептически усмехался. Ему казалось это дешевой актерской игрой, проявлением сентиментальной слабости.

Лишь теперь он осознал...

То были не слезы слабости. То раненые души отзывались на зов музыки, пробуждающей самые сокровенные, тщательно запрятанные воспоминания.

— Твоя взяла. Из всех, кого мне доводилось слышать, ты самый... самый пугающий исполнитель, — выдохнул Доменико, глядя на Чжун Ина покрасневшими глазами. В его голосе смешались гнев и безграничное восхищение. — Ты буквально видишь людей насквозь.

Чжун Ин мягко накрыл ладонью струны, прерывая их остаточный гул.

— Не я читаю в ваших душах, — негромко произнес он. — Это делают инструмент и сама мелодия. Перекладывая заново старинные стихи Музыкальной палаты, господин Шэнь Лин стремился запечатлеть в звуках вечные человеческие чувства. Как писали древние поэты: «Напевы слагаются тысячи лет; меняется мотив, но горечь утраты вечна». Нет лучшего союза, чем песни Императорской музыкальной палаты и голос танского циня, чтобы всколыхнуть глубины человеческого естества.

Доменико молча внимал его речам. В глубине его души вдруг родилось безумное желание обзавестись таким же инструментом. Словно покупка этого древнего дерева могла подарить ему причастность к великой пятитысячелетней истории и унять смятенный дух, потревоженный загадочным напевом.

— Господин Доменико, вы покинули родной дом в двенадцать лет и с тех пор сорок лет не возвращались назад. Кому, как не вам, понятен истинный смысл «Песни скорби»? — Чжун Ин сделал короткую паузу и добавил с глубоким почтением: — Жители вашей родной коммуны бережно ухаживают за могилой вашей матери. Быть может, они простые и грубоватые люди, но сердца у них золотые. Пять лет назад, когда мы с учителем гостили в Виарте, старожилы радушно проводили нас к ее надгробию. Там все очень чисто и опрятно, а вокруг цветут прекрасные дикие маргаритки. Поверьте, если ее душа сейчас в лучшем мире, она наверняка гордится своим сыном.

— Но... зачем вы это сделали? — Доменико ошеломленно воззрился на юношу.

Чжун Ин с мягким упреком покачал головой:

— Господин Доменико, мой учитель ведь звал вас с собой. Он надеялся, что вы решитесь поехать в Виарте вместе.

В памяти пианиста всплыл смутный образ. Дождливое, туманное утро пятилетней давности. Фань Чэньюнь, не отрываясь от настройки инструмента, как бы невзначай спросил его:

«Когда ты в последний раз навещал родные края, Доми?»

Тогда Доменико лишь легкомысленно отмахнулся:

«Мой дом здесь, во Флоренции, и возвращаться мне некуда».

Что же ответил ему тогда Фань Чэньюнь? Кажется, его слова звучали так...

«Каждому из нас знакома горечь изгнания. И какими бы мрачными ни казались воспоминания о родине, там всегда остается крупица тепла, которую стоит сберечь в сердце».

Вздохи циня вторили его тихому голосу:

«Я приехал в эту страну лишь ради того, чтобы вернуть домой одного старого друга, истосковавшегося по родной земле. Если найдешь время, Доми, съезди на родину. Все совсем не так ужасно, как тебе помнится».

А как ответил он сам?

«О нет, мой друг, все гораздо хуже. Я даже не помню, где похоронена моя мать. Наверняка там и холмика-то не осталось, одна трава».

Только сейчас, годы спустя, Доменико осознал: Фань Чэньюнь действительно разыскал то заброшенное кладбище в Виарте и поклонился праху женщины, о которой забыл собственный сын.

В душе пианиста бушевал ураган. Он никак не мог взять в толк: почему эти двое китайцев берут на себя столько хлопот, почему суют нос в чужие дела и проявляют такое милосердие к нему — человеку, давно растерявшему остатки сыновнего долга? Давние слова Фань Чэньюня набатом гудели в его ушах.

Он сидел, не в силах вымолвить ни слова, убаюканный тихим шорохом струн. Взгляд пианиста был прикован к Чжун Ину и его древнему угольно-черному циню. И вдруг до него дошло. Он

наконец понял, какого именно «друга» Фань Чэньюнь так отчаянно стремился вернуть на родину все эти годы.

Десятиструнное «Изящное созвучие».

Пять лет назад игра Фань Чэньюня до глубины души потрясла старого Гаррисона Беллу, однако тот не спешил расставаться со своей коллекцией. Все последующие годы Фань Чэньюнь с завидным упорством приезжал в Италию, порой лишь ради того, чтобы сыграть для Беллу несколько старинных пьес. Доменико тогда казалось, что китайский маэстро ведет себя излишне навязчиво.

Поэтому, когда Музей Беллу объявил о решении безвозмездно передать древние реликвии Китаю, Доменико ничуть не удивился.

Пока газеты наперебой воспевали неслыханное великодушие Гаррисона Беллу, пианист прекрасно знал истинную цену этому жесту. Потребовались годы безграничного терпения, сотни сыгранных мелодий, прежде чем лед сомнений растаял, уступив силе искусства.

Но если мотивы Фань Чэньюня были ему понятны, то Чжун Ин оставался загадкой. Юноша разительно отличался от своего наставника. Он был слишком молод, еще не успел завоевать мировую славу и занять прочное положение в музыкальном мире, в отличие от умудренного опытом и пресыщенного почестями учителя. Тем не менее в его действиях и речах сквозила решимость, превосходящая даже упорство Фань Чэньюня.

Доменико терялся в догадках. Какими чарами обладает этот кусок дерева, если он заставляет двух талантливейших людей жертвовать всем ради его спасения?

— Мальчик мой, скажи мне правду, — в полном смятении заговорил Доменико. — Ты невероятно одарен, перед тобой открыто блестящее будущее. Стоит тебе коснуться струн, и вся Италия, вся Европа — да что там, весь мир падет к твоим ногам! Зачем тебе все эти трудности? Неужели твоя единственная цель — этот древний цинь?

Чжун Ин встретил его изумленный взгляд с абсолютным, безмятежным спокойствием. Он мягко опустил ладони на деку, гася последние отзвуки импровизации, однако металлическая струна продолжала едва слышно вибрировать, точно сам инструмент пытался ответить за своего хозяина.

— Быть может, с точки зрения прагматичного человека мои поступки лишены здравого смысла, а амбиции истинного музыканта должны простираются гораздо дальше. Но я проделал этот путь и взял в руки цинь лишь для того, чтобы отыскать его.

Каждую ночь, находясь за тысячи ли отсюда, в далеком Китае, Чжун Ин читал пожелтевшие страницы дневников господина Шэня. И сквозь строчки явственно слышал безутешный плач десятиструнного «Изящного созвучия», томящегося на чужбине в тоске по отчему дому.

— Господин Доменико, этот инструмент слишком стар, — тихо, но твердо закончил юноша. — Я просто хочу вернуть его домой.

<http://bllate.org/book/20108/1998727>